

МАЙОР ВИХРЬ



Председатель имперского народного суда Фрейслер то и дело срывался на крик. Он просто не мог слушать показаний обвиняемого, перебивал его, стучал кулаком по столу и чувствовал, как от гнева холодеют ноги.

— Вы даже не свинья! — кричал он. — Вы гибрид осла и свиньи! Отвечайте: какими мотивами вы руководствовались, передав красным сведения государственной важности?!

— Я руководствовался только одним мотивом — любовью к Родине, — ответил обвиняемый, — только любовью к Родине...

— Наглец! Вы не смеете говорить о любви к Родине! У вас нет Родины!

— Я очень люблю свою Родину.

— Какой же любовью вы ее любите?! Вы ее любите любовью гомосексуалиста! Ну?! Кому вы передали эти данные в Кракове?

— Этот вопрос уже не представляет для вас интереса. Те, кому я передал сведения, вне сферы вашей досягаемости.

— Вы не просто гибрид осла и свиньи! Вы еще и дурак! В горах Баварии уже создано сверхмощное оружие уничтожения, которое сокрушит врагов рейха!

— Не тешьте себя иллюзиями. Сейчас март сорок пятого, а не июнь сорок первого, господин председатель.

— Нет, вы не просто дурак! Вы наивный дурак! Возмездие грянет так же неумолимо, как рассвет и как восход солнца нашей победы! Лишь такие разложившиеся типы, как вы, не видят этого! Отвечайте суду всю правду — это единственное, что может сохранить вашу вонючую, трусливую, продажную жизнь!

— Я не буду больше отвечать.

— Вы отдаете себе отчет, чем это вам грозит?

— Мне уже больше ничего не грозит. Я сплю спокойно. Не спите вы.

— Уведите этого негодяя! Уведите его! Мне противно видеть это гнусное лицо!

Когда обвиняемого увели, Фрейслер надел свою четырехугольную шапочку, оправил мантию и сказал:

— Объявляется перерыв для вынесения приговора!

Он всегда объявлял перерыв за десять минут перед обедом: председатель имперского народного суда страдал язвенной болезнью, и врачи предписали ему не только тщательнейшим образом соблюдать жесткую диету, но и принимать пищу по минутам.

Все это, происшедшее в марте 1945 года, было одной из развязок истории, начавшейся прошлым летом...

«ЦЕНТР. Совещание в полевом штабе Гиммлера 12 мая 1944 года было прервано в связи с вызовом рейхсфюрера СС к Гитлеру. Однако часть вопросов, включенных в повестку совещания, была обсуждена. Вопрос о переводе партийных руководителей Восточной Пруссии на нелегальное положение в связи с акциями русских войск был оставлен до следующего совещания.

Был рассмотрен вопрос о судьбе крупнейших центров славянской культуры. Привожу запись:

„Гиммлер. Одной из наших серьезных ошибок, я убежден в этом, было крайне либеральное отношение к славянам. Лучшим решением славянского вопроса было бы копирование, несколько, правда, исправленное, еврейского вопроса. К сожалению, мои доводы не были приняты во внимание, победила точка зрения Розенберга.

Кальтенбруннер. Я глубоко убежден, что хорошее предложение никогда не поздно провести в жизнь.

Гиммлер. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Если бы мы начали активное, энергичное решение славянского вопроса два года назад, нам бы сейчас не приходилось готовить себя к уходу в подполье. Давайте трезво смотреть на вещи. Теперь мы обязаны саккумулировать наши усилия, с тем чтобы постараться решить в максимально короткий срок то, что не было до сих пор решено.

Кальтенбруннер. Я думаю, наши предложения о полном уничтожении исторических очагов славизма — Кракова, Праги, Варшавы и других подобных им центров наложат определенную печать даже на возможное (я беру крайний случай) возрождение этой нации. По своей природе славянин не просто туп, но и сентиментален. Вид пепелищ будет соответствующим образом формировать будущие поколения славян. Крушение очагов исторической культуры есть форма крушения духа нации.

Гиммлер. Армия не согласится на немедленное уничтожение всех подготовленных по вашему проекту центров. Армия не может воевать в пустыне. Вопрос, если мы думаем его решить согласованно, вероятно, может ставиться таким образом, что уничтожение центров славизма должно быть непременно проведено в жизнь либо после нашей окончательной победы, либо, на худой конец, в последние дни перед отступлением армии из названных вами городов.

Бройтигам. Стоило бы продумать вопрос об эвакуации части наиболее ценных исторических памятников.

Кальтенбруннер. Бройтигам, мне смешно вас слушать. Вы дипломат, а несете чушь.

Гиммлер. Определенный резон в предложении Бройтигама есть. Но к этому пункту мы вернемся на следующей неделе. Кальтенбруннер, свяжитесь с Кейтелем или Йодлем; по-видимому, лучше с Йодлем, он умнее. Обговорите с ним частности и детали. Выделите несколько наиболее крупных центров — я согласен с вами: Краков, Прага, София, Братислава...

Кальтенбруннер. Братислава — чудный город, в окрестностях прекрасная охота на коз.

Гиммлер. Перестаньте перебивать меня, Кальтенбруннер, что за дикая манера!

Кальтенбруннер. Все-таки Братислава — пока что столица дружественного нам словацкого государства.

Гиммлер. Порой я не знаю, как реагировать на ваши умозаключения: то ли смеяться, то ли бранить вас. Я порву листок соглашения со Словакией в тот час, когда мне это будет выгодно. Не думаете ли вы, что договор со славянами — любой их национальной формой — может быть серьезным?

Кальтенбруннер. Итак, мне нужно получить принципиальное согласие армии на акцию по уничтожению этих центров?

Гиммлер. Да, обязательно, а то генштаб начнет тревожить фюрера жалобами на нас. К чему нам лишняя склока! Мы все смертельно устали от склок. До свидания, друзья...

Бройтигам. Всего хорошего, рейхсфюрер.

Кальтенбруннер. До свидания. Рейхсфюрер, вы забыли свое перо.

Гиммлер. Благодарю, я очень к нему привык. Швейцария делает великоленные ручки. Молодцы! «Монблан» — это во всех смыслах высокая фирма..."

Как мне стало известно, Кальтенбруннер уже договорился с Йодлем о совместной (гестапо, СС, СД и армия) акции по уничтожению крупнейших центров славянской культуры. ЮСТАС».

Эта шифровка пришла из Берлина в Центр 21 мая 1944 года. В тот же день она была передана с нарочными всем командующим фронтами. Одновременно в Берлин — по каналу Эрвина и Кэт, радис-

тов Штирлица, работавших с ним в Берлине уже не первый год, — была отправлена радиограмма:

«ЮСТАСУ. Найдите возможность посетить Краков лично. ЦЕНТР».

Через месяц в разведотделе штаба фронта были составлены документы следующего содержания:

«Группа военной разведки в составе трех человек: руководитель — Вихрь, заместитель по разведработе — Коля и радист-шифровальщик — Аня, откомандированные Генеральным штабом РККА для выполнения специального задания, прошли подготовку по вопросам, связанным с паспортным режимом генерал-губернаторства и — отдельно — Кракова; уточнены легенды, шифры, время и место радиосвязи.

Задачи группы — установление способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова.

Способы выполнения оговорены с руководителем Центра по выполнению специального задания полковником Бородиным.

Работа: после выброски и приземления — сбор. Определять местонахождение друг друга по миганию фонариков. Центром сбора является Аня. Если у кого-либо ушиб или ранение — необходимо перемигиваться фонариками чаще, с интервалом через одну минуту, а не через три, как это установлено. Цветовые различия: радистка — белый цвет, руководитель — красный, заместитель — зеленый.

Сразу после приземления закапывают парашюты и начинают передвижение к северу — три километра. Здесь — привал; переодеваются и устанавливают связь с Бородиным. После этого рация должна быть закопана, двое остаются в лесу возле рации, а заместитель по разведке отправляется в село Рыбны. Там он должен выяснить наличие немецких патрулей. Если в селе нет войск и патрулей, Вихрь идет в город Злобнув, на улицу Грушеву, дом 107, к Станиславу Палеку и передает ему привет от его сына Игнация, полковника Войска Польского. Сигизмунд Палек выводит Вихря через своих людей на связь с шифровальщиком Мухой. Вихрь подчиняет себе Муху.

Если по каким-либо причинам все члены группы не собрались после приземления или дом Палека занят немцами, местом встречи устанавливается костел в селе Рыбны: каждый день, с седьмого по десятое, с десяти до одиннадцати утра. К руководителю подойдет Муха — молодой человек в потрепанной немецкой форме без погон.

Вихрь должен быть одет в синий костюм, кепка в правой руке, в левой — белый платок, которым он будет утирать лоб справа налево быстрым движением. Пароль: „Простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели?“ Отзыв: „По-моему, она недавно уехала с попутной машиной“.

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ „ВИХРЬ“:

оккупационных марок — 10 000
рейхсмарок — 2000
золотых часов — 8 штук
костюмов — 4 (два бостоновых, два шевиотовых, сшитых по спецзаказу во Львове)
ботинок — 4 пары
сапог — 2 пары
сорочек — 2 пары
носков шерстяных — 2 пары
носков нитяных — 3 пары
платков носовых — 4 штуки
пистолетов „парабеллум“ — 3 штуки
обойм к ним — 6 штук
гранат — 8
автоматов „ППД“ — 3 штуки
рация — одна
комплектов питания — 2

Вещи переданы капитаном *ВЫСОКОВСКИМ (подпись)*.

Вещи приняты майором *ВИХРЕМ (подпись)*».

В тоненькую папку, приобщенную к материалам операции «Вихрь», были вложены следующие характеристики:

«Бурлаков Андрей Федорович, русский, родился в Тамбове в 1917 году, холост, член ВКП(б) с 1939 года. В 1935 году поступил в педагогический институт, на факультет филологии и истории. Окончив пединститут, тов. Бурлаков А. Ф. был направлен учителем в школу с. Шаповаловка. Участвовал в войне с белофиннами. После ранения и демобилизации вернулся в Тамбов, где начал работать инструктором горкома партии. В начале Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт. Впоследствии откомандирован в спецшколу Генерального штаба РККА. По окончании спецшколы был заброшен в Днепропетровск, где стал во главе резидентуры. Год жил на нелегальном положении, три месяца — легально,

устроившись переводчиком в организации Тодта на объект 45/22. За успешное выполнение заданий командования награжден орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени. К суду и следствию не привлекался. Выдержан, морально устойчив. Делу партии беззаветно предан».

«Исаев Александр Максимович, русский, родился во Владивостоке в 1923 году, холост, член ВКП(б) с 1943 года, в 1940 году поступил на физический факультет МГУ. В июне 1941 года добровольцем ушел на фронт Великой Отечественной войны. За мужество, проявленное во время боев под Гжатском, был награжден медалью „За отвагу“. Направлен в спецшколу Генштаба РККА. По окончании спецшколы три раза забрасывался в глубокий тыл со специальными заданиями. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Выдержан, морально устойчив. К суду и следствию не привлекался. Делу партии предан беззаветно».

«Лебедева Евгения Сергеевна, русская, 1923 года рождения, член ВЛКСМ, не замужем, родилась в г. Тайшете Красноярского края. В 1940 году окончила среднюю школу. Работала коллектором в управлении изыскательских работ филиала Южсиба. В 1941 году подала заявление в райвоенкомат. Была направлена в части противовоздушной обороны Ленинграда. Оттуда, после пребывания в госпитале, направлена в школу радистов. Забрасывалась в тыл со специальным заданием. Награждена орденом Красной Звезды. К суду и следствию не привлекалась. Выдержана, морально устойчива. Делу партии предана».

Здесь же хранились тексты легенд, разработанные для внедрения и легализации, а также на случай провала.

«Я, Попко Кирилл Авксентьевич, украинец, родился 24 октября 1917 года в Днепродзержинске в семье учителя. Моя мать, член бюро райкома партии, была расстреляна НКВД осенью тридцать седьмого года. Я работал грузчиком на железнодорожной станции Кривой Рог, в седьмой дистанции пути Сталинской железной дороги. Проходил действительную службу в рядах РККА в войсках Киевского военного округа, в первом стрелковом полку отдельной кавдивизии, дислоцированной в районе Белой Церкви. Во время боев под Киевом сдался в плен. После проверки в фильтрационном лагере № 56/а был освобожден и устроился работать помощником начальника цеха на мельзаводе Днепропетровска. Отец работал директором школы, и вскоре я перешел с мельзавода на работу в школу завхозом. При наступлении частей Красной армии отец погиб во время воздушно-

го налета. Я отступил с частями немецкой армии во Львов, где работал на железнодорожной станции диспетчером службы депо. В настоящее время ушел оттуда в связи с наступлением большевиков. Аусвайс № 7419, выданный городским бургомистратом Львова».

«Я, Гришанчиков Андрей Яковлевич, русский, родился 9 мая 1922 года в Москве. Учился в педагогическом институте, на физическом факультете. Был отправлен в сентябре 1941 года под Москву рыть окопы. В октябре сдался в плен. Был отправлен в Минск, где работал сначала строительным рабочим, потом парикмахером в мастерской Ереминского, которая находилась на Угольной улице, в доме 7. Отступал вместе с немецкими войсками, в настоящее время иду в Краков, где, как мне сказали в эшелоне, есть пункт для оказания помощи лицам, бежавшим от большевистского террора. Аусвайс № 12/299, выданный 22 июля 1942 года бургомистратом Минска».

«Я, Грудинина Елизавета Родионовна, русская, родилась 16 августа 1924 года в деревне Выселки Курской области. Мои родители были раскулачены в 1929 году и сосланы на поселение в Хакасскую автономную область, в деревню Дивное. За месяц перед войной, после окончания девятого класса, я поехала в гости к тетке в Курск. Здесь, у тетки, проживавшей на улице Ворошилова, дом 42, квартира 17, меня и застала война. После того как большевики ушли из города, я стала работать в офицерском клубе официанткой. В дальнейшем была секретарем-машинисткой в городской больнице. Вместе с семьей моей тетки, Лакуриной Прасковьи Николаевны, отступила в Киев, там устроилась работать горничной к вице-прокурору Штюрмеру. Из Киева, отстав от семьи тетки, я переехала в Ужгород, где встретила моего знакомого по Курску, офицера русской освободительной армии Шевцова Григория, который сказал, что видел мою тетю при отступлении из Львова. Тетя собиралась ехать в Германию через Краков. Поэтому я сейчас иду в Краков, чтобы обратиться к властям с просьбой о помощи. Вместе с семьей тетки я также собираюсь ехать в Германию. Аусвайс № 7779, выдан 3 августа 1942 года».

Следующие три листочка бумаги были написаны от руки:

«Я, Бурлаков Андрей Федорович, майор Красной армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моим родителям по адресу: Астрахань, Абхазская, 56, Бурлаковым Федору Федоровичу и Тамаре Михайловне».

«Я, Исаев Александр Максимович, старший лейтенант Красной армии, прошу причитающийся мне оклад переводить моей матери,

Гаврилиной Александре Николаевне, по адресу, имеющемуся в моем личном деле».

«Я, Лебедева Евгения Сергеевна, младший лейтенант Красной армии, прошу переводить мой оклад на сберегательную книжку, так как родственников после смерти родителей не имею. Сберкнижку прилагаю».

И — последний документ:

«Сегодня, 27 июня 1944 года, в 23 часа 45 минут в квадрате 57 произведен сброс трех парашютистов. В связи с низкой облачностью и сильным ветром возможно небольшое отклонение от заданного района. Капитан *Родионов*».

Летчик Родионов оказался прав — облачность была низкая, а ветер сильный. Он был не прав в другом: отклонение от заданного района вышло очень большое. Группа выбросилась в семидесяти пяти километрах от заданного места приземления. Ветер расшвырял парашютистов в разные стороны. На сигналы белого луча Аниного фонарика никто не отвечал. Земля была не по-летнему холодной. Лужи пузырились дождевыми нарывчиками. В лесу пахло осенними листьями. Где-то вдали выли собаки. Аня закопала парашют, комбинезон и рацию, причесалась, вымыла руки в луже и пошла на север.

Попко

Под утро Вихрь выбрался к шоссе. На асфальте лежала молочная роса, будто первый осенний заморозок. Облака поднялись и теперь уже не разрывались, как ночью, натываясь на верхушки деревьев. Было очень тихо, как бывает на рассвете, когда ночь еще пытается противоборствовать утру.

Вихрь шел вдоль дороги, по мелкоколесью. Мокрые листья мягко касались его лица, и он улыбался, вспоминая отчего-то, как отец сажал деревья на участке вокруг их дома. Он откуда-то привез саженцы американского ореха — широколистого, изумительной красоты дерева. Когда два саженца принялись и бурно пошли вверх и вширь, отец, возвращаясь домой, останавливался и здоровался с деревьями, как с людьми, осторожно пожимая двумя пальцами их большие листья. Если кто-то замечал это, отец делал вид, что щупает листья, а если рядом никого не было, он подолгу тихо и ласково разговаривал с деревьями. То дерево, которое было шире и ниже, считалось у него женщиной, а длинное, чуть заваленное на один

бок, — мужчиной. Вихрь несколько раз слышал, как отец шептался с деревьями, спрашивал их про жизнь, жаловался на свою и внимал подолгу, что они ему отвечали — шумом листвы своей.

Воспоминания не мешали Вихрю думать: то, что он вспоминал, медленно проплывало у него перед глазами, становясь некоей зримой связью с домом, с тем, что отныне стало прошлым. А думал он сейчас о настоящем, о том, что случилось этой ночью с товарищами. Он перебирал все возможные варианты — худшие сначала, а потом, постепенно, самые благоприятные для членов его группы.

«Видимо, нас разбросал ветер, — думал Вихрь. — Стрельбу я должен был услышать, потому что ветер был на меня, а они прыгали первыми, следовательно, они приземлились в том направлении, откуда налетал ветер. Вихрь, — усмехнулся он, — налетал вихрь... Глухая кличка, просто на манер Айвенго, право слово... Надо было взять кличку Ветер — хоть без претензий».

Он остановился — толчком — и замер. Впереди асфальт был перегорожен двумя рядами колючей проволоки, подходившей вплотную к полосатому пограничному шлагбауму. Вдоль шлагбаума ходил немецкий часовой. На опушке леса темнела сторожевая будка. Из трубы валил синий дым — клубами, ластясь к земле: видимо, печку только-только растопили.

Несколько мгновений Вихрь стоял, чувствуя, как все тело его сводит тяжелое, постепенно пробуждающееся напряжение. Потом он стал медленно приседать. Он знал лес. Еще мальчишкой он понял, что нет ничего более заметного в лесу, как резкое движение. Зверь бежит через чащобу, и его видно, но вот он замер — и исчез, до тех пор исчез, пока снова не выдаст себя движением.

Вихрь лег на землю, полежал так с минуту, а потом стал потихоньку отползать в лес. Он забрался в чащобу, повернулся на спину, закурил и долго смотрел на причудливое переплетение черных веток над головой.

«Видимо, я вышел к границе рейха с генерал-губернаторством, с Польшей. Иначе — откуда граница? По-видимому, мы выбросились много западнее Кракова, значит, патрулей здесь до черта. Хреново!»

Вихрь достал карту, расстелил ее на траве и, подперев голову кулаком с зажатой в нем папиросой, стал водить ногтем мизинца по шоссе-ным дорогам, ведшим из Кракова: одна на восток, другая в Закопане, третья в Силезию, четвертая на Варшаву.

«Точно. Это дорога на Силезию. В километре отсюда — территория Третьего рейха, мать его так... Надо назад. Километров семьдесят, не меньше».

Вихрь достал из кармана плитку шоколада и лениво сжевал ее. Выпил из фляги немного студеной воды и стал отползать еще дальше в чащобу, то и дело замирая и вслушиваясь в утреннюю ломкую, влажную тишину.

(Вихрь верно определил, что перед ним граница. Он также совершенно правильно предположил, что здесь больше, чем в каком-либо другом месте, патрулей. Но Вихрь не мог знать, что вчера их самолет был засечен пеленгаторными установками. Более того, было точно запеленговано даже то место, где «дуглас» лег на обратный курс. Поэтому шеф краковского гестапо дал указание начальнику отдела III-A прочесать леса в районе тех квадратов, где, предположительно, был сброшен груз или парашютисты красных.)

Вихрь шел по лесной дороге. Она то поднималась на взгорья, то уходила вниз, в темные и холодные лощины. В лесу было гулко и тихо, дорога была неезженная, но тем не менее отменно хорошая, тугая, не разбитая дождями. Вихрь прикинул, что если он пойдет таким шагом через лес, то завтра к вечеру будет совсем неподалеку от Рыбны и Злобнува. Он решил не заходить в села, хотя по-польски говорил довольно сносно.

«Не стоит, — решил он, — а то еще наслежу. Здешнюю обстановку я толком не знаю. Лучше проплутать лишние десять километров. Так или иначе, компас выручит».

Выходя на поляны, он, так же как и на границе, замирал, медленно опускался на землю и только потом обходил поляну. Один раз он долго стоял на опушке молодого березняка и слушал, как глухо гудели пчелы. Он даже ощутил во рту медленный, откуда-то изнутри, липовый вкус первого, жидкого светлого меда.

К вечеру он почувствовал тяжелую усталость. Он устал не оттого, что прошел более сорока километров. Он устал оттого, что шел через лес — настороженный, молчаливый; каждый ствол — враг, каждая поляна — облава, каждая река — колючая проволока.

«Сволочь, — устало думал Вихрь об этом тихом лесе, — растет себе — и плевал семь раз на войну. Даже макушек, срезанных снарядами, нет. И выгоревших секторов тоже. Горелый лес жалко. Попал в людскую перепалку и страдает ни за что ни про что. А этот — благополучный, тихий, пчелиный лес, мне его совсем не жаль».

Когда стало темно, Вихрь сошел с лесной дороги и двинулся по мокрому мягкому мху куда-то вниз, туда, где шумела река. Он решил там заночевать. Чем ниже он спускался, тем труднее было идти:

начиналось болото. Вихрь решил посветить вокруг фонариком, но потом подумал, что делать этого не стоит, свет в лесу издалека виден, всякое может случиться.

Он начал подниматься обратно — вверх к дороге, упал, промочил колени, рассердился, потому что завтра рассчитывал войти в Рыбны, а входить в село в измазанных брюках неразумно: сразу видно, что из лесу. Достал из немецкого, свиной кожи портфеля фонарик и быстро осветил место, где упал. Мох под лучом фонаря стал неестественно зеленым, каким-то изумрудным даже, светился изнутри, как фосфор ночью в кабине пилота.

Вихрь вышел на дорогу, долго чистил березовой листвой свои щегольские тупорылые полуботинки, изношенные настолько, чтобы не казаться новыми: гестапо здорово осматривает вещи при задержании, они в этом доки, а новые вещи всегда подозрительны. Сверился по карте, где он сейчас должен находиться, и полез вверх — по левую сторону от дороги. Ночной лес был ему приятен — совсем иной, особой, столь нужной сейчас тишиной. Леса незнакомого, и особенно ночного, бояться все: и те, которые ищут в нем, и те, которые в нем скрываются. Но те, которые ищут, бояться его больше.

Не разводя костра, он устроился под большой теплой елкой; вытянулся с хрустом и не заметил, как уснул — тяжелым сном с липкими, тягучими сновидениями.

Проснулся он словно от удара: ему послышалось, что рядом кто-то тяжело дышит. Он даже отчетливо понял, что дышит человек с насморком — в носу при каждом вдохе хлюпало.

Коля, он же Гришанчиков

Он, пожалуй, дольше остальных ходил вокруг места приземления — сначала маленькими кругами, а потом все бóльшими и бóльшими, — но безрезультатно. Никаких следов товарищей он не обнаружил.

Под утро Коля вышел на проселок. Возле развилки стояла маленькая часовенка. На чисто беленной стене был прибит большой коричневый крест. На кресте был распят Христос. Художник тщательно нарисовал на белом теле Христа капельки крови в тех местах, где его руки и ноги были пробиты гвоздями. Над входом в крохотную часовенку висела иконка Пресвятой Девы Марии: детское лицо, громадные глаза, тонкие пальцы прижаты к груди, словно при молитве.

На полочке под крестом стоял стакан. В стакане догорала свеча. Пламя ее в рассветных сумерках было зыбким и тревожным.

«Заграница! — вдруг подумал Коля. — Я — за границей! Как мы смотрели на Ваську, когда он приехал с родителями из-за границы! Он приехал из Польши в тридцать восьмом. Смешно: он сочинял небылицы, а мы ему верили. Он говорил, что купался в гуттаперчевом море. Можно плавать, даже если не умеешь. „Вода, — говорил Васька, — держит. Специальная, американская вода“. Мы его даже не били, потому что он был за границей».

Коля вздрогнул, услышав за спиной кашель. Обернулся. В дверях стояла старуха. Она прикрывала рукой большую, только что зажженную свечу.

— Доброе утро, пани, — сказал Коля.

— Доброе утро, пан, доброе утро.

Старуха выбросила огарок из стаканчика, что стоял под распятием, и укрепила в нем новую свечу, покапав стеарином на доньшко. Ветер лизнул пламя, оно взметнулось, хлопнуло раза два и исчезло. Коля достал зажигалку, высек огонь, зажег фитиль.

— Благодарю пана.

— Не стоит благодарности.

— Пан не поляк?

— Я русский.

— Это чувствуется по вашему выговору. Вы что, из лагеря в Медовых Пришлицах?

— Нет. А какой там лагерь?

— Там живут те русские, которые ушли с немцами. Туда каждый день приходит много людей.

— А мне сказали, что этот лагерь под Рыбны...

— Пану сказали неверно.

— Вы не покажете, как туда идти?

— Покажу, отчего же не показать, — ответила старуха и опустилась на колени перед распятием. Она молилась тихо, произнося неслышные быстрые слова одними губами. Порой она замолкала, упиралась руками в пол и склонялась в низком поклоне.

Коля смотрел на старуху и вспоминал бабушку, мамину тетю. Она была верующая, и Коля очень стыдился этого. Однажды у бабушки упала ее старенькая красная сумочка, в которой она носила деньги, когда ходила за покупками. Из сумки выпало медное квадратное распятие. Коля засмеялся, схватил с пола распятие и стал дразнить бабушку, а после зашвырнул распятие в угол, под шкаф.

Бабушка заплакала, а двоюродный брат мамы дядя Семен, войдя в комнату в гимнастерке без портупей — он только что принимал ванну, — ударил Колю по шее, не больно, но очень обидно. Лицо его потемнело, он сказал:

— Это свинство. Не смей издеваться над человеком, понял?

— Она верующая! — Мальчик заплакал. Тогда ему было двенадцать лет, и он был не безликим Колей или Андреем Гришанчиковым. Он был Сашенькой Исаевым, баловнем дома, и его никто ни разу не ударял — ни мать, ни дядя Семен, пока он жил у них, ни бабушка. — Она верующая! — кричал он, заливаясь слезами. — Поповка! А я пионер! А она верующая!

— Я тоже верующий, — сказал дядя Семен. — Я — в свое, она — в свое.

Уже много позже он рассказал Коле, как в первые годы революции они брали дохлых кошек и бросали их в окна холодной церкви, где молились старики и старухи, вымаливая у своего Бога победы красным, своим детям-безбожникам. И у одной старухи случился разрыв сердца, когда в нее попали дохлой кошкой, а у нее на руках были четверо малышей: мать их умерла от голода, а отец был красный командир у Блюхера.

Полька поднялась с колен:

— Пойдемте, я покажу вам, как добраться до Медовых Пришлиц. Коля достал из кармана пачку немецких галет:

— Вот, мамаша, возьмите. Внукам.

— Спасибо, пан, — ответила старуха, — но мы не едим немецкого...

Они шли со старухой по дороге, которая вилась среди полей. Вдали, на юге, громоздились горы. Они были в сиреневой утренней дымке. Когда Коля и старуха поднимались на взгорья, распахивался громадный обзор: места были красивые, холмистые, поля разрывались синими лесами, торчали островерхие крыши костелов, они казались игрушечными, видно их было за многие километры, потому что воздух был прозрачен, как вода ранним утром в маленьких речушках с песчаным дном — каждую песчинку видно словно под микроскопом. Только иногда налетит ветер, тронет воду, замутит ее — песчинки исчезнут, останется желтая масса песка. А потом вдруг настанет тишина, ветер улетит вверх — и снова песчинка отлична от песчинки, лежи себе и рассматривай их. Так и сейчас: иногда налетал ветер, гнал быстрые серые облака, крыши костелов скрывались, но ненадолго. Были видны красные черепичные крыши домиков. Курились дымки. Голосили петухи. Шло утро.

— Большевики такие страшные, что пан бежит от них? — спросила старуха.

— Я ищу свою невесту. Она ушла с родителями. Все уходили, и они ушли.

Старуха взглянула на Колю и сказала:

— Пан знает, что у него порван пиджак на спине?

— Знаю, — ответил Коля, хотя он не знал про это — видимо, порвал в лесу.

— Немцы любят опрятных панов, — сказала старуха и внимательно посмотрела на Колю.

— Я тоже люблю опрятность, — ответил он. — Приду туда и зашью.

От дороги отходила тропинка к маленькому домику, стоявшему возле леса.

— Мне сюда, — сказала старуха. — До свиданья, пан.

— Всего хорошего. Спасибо, пани. Вы что, специально носили свечу в часовенку?

— Нет, я шла из Кракова, там в тюрьме мой сын.

— За что ж его?

— За разное, — ответила старуха.

— Если хотите, я могу прийти помочь вам по хозяйству, — сказал Коля. — Отсюда недалеко до лагеря?

— Километров пять. Не беспокойтесь. У меня два внука, мы управляемся. А пиджак зашейте — немцы не любят тех, кто неопрятно одет.

В Медовых Пришлицах Колю допрашивал старый немец в мятой армейской форме. Он мотал его часа четыре. Потом заставил написать подробное изложение своей истории, забрал его аусвайс, посадил в маленькую комнатку без окон, запер дверь на французский замок и выключил свет.

Коля знал про лагеря, в которых группировались те, кто уходил с немцами. Такие лагеря стали организовываться месяца три-четыре назад и поэтому не успели обрести немецкой пунктуальностью — текучесть была громадная, лагерный персонал не особенно квалифицированный, потому что в основном сюда, в эти лагеря, стекались люди, верные фашистам: полицаи, служащие бургомистратов, торговцы. Проверка носила характер поверхностный: немцы не успевали толком заниматься с явными врагами, им было не до прислужников.

Коля считал, что со своими документами наверняка пройдет проверку. Потом он рассчитывал получить направление на работу —

таким образом произойдет легальное внедрение. А это всегда самое главное в работе разведчика. Он знал по материалам генштаба, что людей, прошедших такие лагеря, направляли на строительство оборонительных сооружений, без конвоя и со свободным жильем у гражданских граждан.

«Конечно, элемент риска во всем этом есть, — думал Коля, постариковски медленно поглаживая свои колени, — но это риск разумный. Во всяком случае, более разумный, чем торчать в Рыбны на площади возле костела или ночевать в лесу. Я играю ва-банк, но у меня козырная карта, и я знаю психологию моего противника в такой ситуации. Ворота этого лагеря не охраняются. Охраняют, и то два инвалида, только один барак, где содержатся человек пятнадцать новеньких — обычная и естественная проверка».

В темноте трудно уследить за временем. Кажется, что оно ползет медленно, как старая кляча. Сначала в крошечной темноте хочется двигаться, а после — исподволь — находит на человека медленное оцепенение, остро чувствуется усталость, а потом начинает клонить в сон, но сон не идет, и человек барахтается в тягучей дреме. Все в нем обнажено, он слышит какие-то шорохи, потом начинаются слуховые галлюцинации, а потом ему видятся светлые полосы, и он думает, что в щели пробивается свет, а на самом деле это в глазах звенит темнота; она ведь звенящая — эта полная темень, положенная на гулкую, напряженную тишину.

«А может быть, стоило все же идти на встречу к костелу? — думал Коля. — Но это слишком безынициативное решение. С моим польским языком было бы глупо два дня околачиваться по здешним местам без связи. А сидеть в лесу — значило бы попусту переводить время. А так я использовал шанс. Он обязан быть моим, этот шанс. Все за меня. И нечего психовать. Это все из-за темноты. Надо думать о том, как жить дальше. И все. Нечего пугать самого себя. Разведчика губит не риск, и не случай, и не предательство. Разведчика может погубить только одно — страх».

Его продержали в темной комнате, как ему казалось, часов десять, не меньше. Он ошибся. Он просидел там пять часов. Старик офицер, тот, что его допрашивал, сказал:

— Теперь идите в барак. Мы проверяем ваши документы. Ничего не поделаешь: война есть война.

— А я и не в претензии, — сказал Коля, — только обидно: как с врагом обращаетесь. У меня от темноты глаза разболелись.

— Ничего, ничего... Идите в барак, завтра все решится... Часовой, отведите этого господина в зону.

Часовой довел Колю до колючей проволоки, а там пустил его одного.

Когда Коля шел через темный двор к бараку, над входом в который горела синяя лампочка, кто-то вышел из другого барака. На крыльце возле синей лампочки Коля остановился, чтобы закурить. И вдруг он услышал чей-то тихий, до ужаса знакомый голос:

— Санька!

Коля врос в крыльцо, спрятал в карман зажигалку и, не оборачиваясь, пошел в барак.

— Санька, — негромко повторили из темноты. — Ты что, Сань?!

К Коле подошел человек — молодой еще, но с сединой в волосах. Коля лениво глянул на него и судорожно сглотнул комок в горле: перед ним стоял Степан Богданов, его приятель по Москве, из тридцать седьмой квартиры. Он пропал без вести в сорок первом — так говорил его отец.

— Вы ошиблись, — сказал Коля, — вы меня с кем-то путаете. Я не Саня, я Андрей. Спокойной ночи...

— Стой, — сказал Богданов и взял Колю за рукав пиджака. — Не сходи с ума, понял? Не сходи с ума!

Аня

Она добралась в Рыбны на второй день под вечер. Аня вываляла в дорожной пыли свою шерстяную кофту, испачкала грязью лицо и, согнувшись, как больная, пуская слюни — к блаженным немцы не приставали, — медленно прошла через большое село: сначала кружным путем, по окраинным улочкам, а потом через центр, мимо костела, двухэтажного каменного дома сельской управы, мимо большого магазина и нескольких указателей, укрепленных на площади. Синие стрелки показывали расстояние до Кракова и Закопане.

Аня вышла из Рыбны и двинулась через перелесок на юго-восток, к гряде синих Карпатских гор. Она решила переночевать в лесу неподалеку от Рыбны, чтобы послезавтра идти на площадь перед костелом — искать Вихря или самой пытаться выйти на связь с Мухой. Центр ждал сеанса.

Она сошла с дороги и через скошенное желто-коричневое поле двинулась к опушке частого леса; среди берез торчали сосны и лиственницы. Лес был красив — листва звонко трепетала под ветром,

в глухой чаще кукушка отсчитывала годы чьей-то жизни, ручей, спрятанный в разросшемся кустарнике, бормотал свою быструю и невнятную речь.

Аня отошла от опушки с полкилометра и решила остановиться на ночлег, но потом отошла еще подальше — огонь костра виден с дороги, а в глубине леса можно развести большой огонь, и греться возле него всю ночь, и вскипятить воды в маленьком немецком котелке, а потом развести в нем концентрат и сделать венгерский гуляш. Аня однажды ела этот гуляш — с сушеной морковью, черным перцем и кусочками вяленого мяса. Он был очень вкусный, почти как похлебка, которую в тайге варил отец, когда Аня приезжала к нему на каникулы из Тайшета. Только отец резал вяленое мясо большими кусками и бросал в котел несколько сушеных морковин, а не десять-двадцать стружечек, как было в венгерском трофейном концентрате.

Капитан Высоковский два раза угощал Аню этим венгерским гуляшом и уговаривал ее выпить спирту, но Аня не хотела пить спирт, потому что в тайге несколько раз пробовала его с геологами и у нее до сих пор, когда заговаривали о спирте, появлялся во рту сухой, ржавый привкус.

— Я бы вина выпила, — говорила Аня красивому капитану с голубыми иссиня-черными глазами, — вино хоть сладкое, а это — гадость.

— Лапочка моя, — смеялся капитан, допивая свой стакан, — сладким вином вас будет поить муж после победы. Спирт — для начала интриги. Чисто дружеской, никак не иначе..

Выросшая в тайге среди сильных, добрых мужиков, Аня научилась понимать людей сразу — с первого часа. Там, где она росла, иначе было нельзя. Там надо сразу определить: можно с этим человеком идти через зимнюю тайгу за десять километров на Артемовские рудники кино смотреть или нельзя. Тайгу всяк любит, да не каждый выдержит — даже десять километров.

Ане было занятно, когда волоокий красавец-капитан говорил с ней заумными, многозначительными фразами. Аня прекрасно понимала, чего он хотел, и ей было смешно, что он так хитро и издалека начинал осаду. Ей было так же смешно, когда впервые в тайге, в поисковой партии, к ней, семнадцатилетней девчонке, полез геолог из Красноярска. Аня поначалу, когда он обнимал ее, смеялась, а потом ей все это надоело, она оттолкнула геолога, взяла полено, лежавшее возле печки, и сказала:

— Сейчас как врежу по кумполу!

Ей казалось странным, когда ее подруги, влюбленные в ребят, не позволяли им себя целовать.

«Зачем так? — думала тогда Аня. — Когда любишь, нельзя кокетничать. Ведь кокетничают только с нелюбимыми или если дело какое».

Ее раз послали в Красноярск за реактивами. Реактивов не было. Аня пошла в парикмахерскую, ей соорудили на голове крепость из ее кос, она отправилась к заместителю начальника отдела материально-технического снабжения, и он ей выписал реактивы. Но не отпустил от себя часа два, все баклуши бил и вздыхал, глядя ей в глаза.

Аня знала, что она хороша, но относилась к этому спокойно, как хороший солдат к оружию: есть и есть, злоупотреблять не следует, а когда нужно — сразу в дело.

Она влюбилась в Ленинграде в политрука своего дивизиона. Она ждала, что он позовет ее к себе в блиндаж. Она бы пошла не задумываясь. Но политрук все не звал ее, только, встречая, шлепал по щеке и дарил корочку хлеба. Аня хотела прийти к нему сама и сказать, что любит его и что хочет быть с ним, но не успела. Политрук умер от голода — замерз по пути от трамвайной остановки до передовой.

Костер загорелся сразу — выстрелил в небо белым шипением, потом разъярился, затрещал красными искрами окрест себя, а потом успокоился, захлопал желтыми руками и стал греть Аню. Она поворачивалась к костру по-таежному: сначала левым боком, потом спиной, после правым боком, а уже потом, зажмурившись, чтобы не портить глаза, обернулась к огню лицом.

«Наверное, идолопоклонники очень правильно делали, что поклонялись огню, — думала Аня. — Зря поддались христианам. Там было во что верить: разведи себе костер — и молись. А я как выдумываю? И лесу молюсь, и небу, и реке...»

Аня собрала сухого валежника, принесла его к костру и сделала себе подстилку. Легла, потянулась, подвинулась еще чуть ближе к огню и почувствовала, что вот-вот уснет. Она заставила себя открыть глаза и поглядеть на костер, хватит ли на всю ночь? Она сделала себе сибирский костер: нашла сваленную елку, срезала тесаком сучья, принесла березовой коры и подожгла сухое дерево. Надо только через каждые три часа просыпаться и чуть поддвигать вперед елку, чтобы она равномерно обгорала, а не пузырилась огоньками вдоль по всему стволу.

Аня подвинула древесину — вокруг заискрило, пламя на мгновение замерло, а потом вспыхнуло с новой силой. Аня завернулась в легкое пальтишко, выданное ей сверх утвержденного комплекта капитаном Высоковским, и сразу же уснула.

Только начало

«Дурацкие сны», — подумал Вихрь, не открывая глаз. Человек в ночном чужом, враждебном ему лесу, чтобы выжить и победить, обязан быть как зверь — то есть сначала жить инстинктом, а после уж разумом. Инстинкт сейчас решал вместо Вихря: открыть глаза, или вовсе не поверить этому сопению, или повернуться, словно во сне, но так, чтобы правая рука обязательно ощутила под собой кожу портфеля, в котором гранаты и «парабеллум». Он всегда клал этот портфель справа от себя, под боком: со сна очень трудно вытаскивать оружие из карманов — карманы перекручены, и, пока вырываешь оттуда оружие, теряются те мгновения, которые могут спасти. Он повернулся, будто во сне, зачмокав губами. Он не приказывал себе играть это чмоканье спящего человека — это было помимо него, это шло само собой как результат последних трех лет его жизни.

Портфеля не было, хотя Вихрь хорошо сыграл жест правой рукой, выбросив ее далеко вперед, чтобы захватить побольше мха, если разметался во сне и портфель остался в стороне.

Еще отчетливее он услышал близкое сопение.

«Наверное, коза, — сказал себе Вихрь, все еще не открывая глаз. — Стоит и слушает, прежде чем переходить дорогу, спускаясь к реке на водопой. И вся содрогается при малейшем ветерке».

Так он говорил себе, прекрасно понимая, что сейчас врет. Это уже в нем верховодил разум, а ведь разум способен врать. В инстинкте больше правды: земной, живой, честной.

— Неплохой сон у этого парня, — услышал он немецкую речь у себя над головой.

Вихрь открыл глаза. Прямо над ним стояли три гестаповца. В руках у одного из тех, что стояли чуть поодаль, ближе к дороге, был его желтый портфель.

— Кто вы такой? — спросил Вихря человек в штатском, когда в полдень его привезли в краковское управление гестапо.

На окнах были тяжелые, витые, очень красивые решетки. Стекла были вымыты до «зайчиков». За окном было солнечно и тихо — как вчера в лесу.

Вихрь понял вопрос, он знал немецкий, но ничего не ответил, а только подобострастно улыбнулся и недоуменно пожал плечами. Тогда второй человек, длинный, жилистый, тот, который держал его портфель при аресте в лесу, слез с подоконника, подошел к Вихрю и спросил по-русски:

— Вам нужен переводчик?

— Я не понимаю по-немецки, — сказал Вихрь, — вернее, понимаю, но очень слабо.

— Шеф отдела спрашивает: кто вы такой?

— Человек, — подобострастно улыбнулся Вихрь. — Попко, Кирилл Авксентьевич.

Длинный перевел. Шеф попросил:

— Расскажите о себе.

— Вас просят рассказать о себе.

— Что ж... Я готов. Попко я, Кирилл, украинец... Позвольте закурить, а то мои при обыске изъяли...

— Пожалуйста.

— Спасибо. Очень хороший табак. Откуда у вас турецкие?

— Ворую, — усмехнулся длинный. — Дальше!

— Я из Днепродзержинска. Папаша — сеял разумное и вечное, мама была членом бюро райкома. Ее расстреляли в тридцать седьмом.

— Минуту, — сказал длинный и перевел сказанное Вихрем шефу.

Вихрь отметил, что переводил немец слово в слово, совершенно не спотыкаясь, без пауз.

— Продолжайте.

— Работал грузчиком, потому что в институт не принимали, сами понимаете. Потом служил в армии. Сдался во время боев под Киевом. Сидел в вашем фильтрационном лагере пятьдесят шесть, дробь «а». После работал на мельзаводе. Отступил с частями немецкой армии во Львов. Сейчас иду в Краков, хочу здесь устроиться на железную дорогу.

— Минуточку, — попросил длинный и перевел все шефу.

Тот слушал, улыбаясь уголками четко вырезанного, капризного, очень красивого рта.

— Очень хорошо, — сказал он. — Пусть расскажет свою историю еще раз, только подробнее.

— Я родился в Днепродзержинске в семнадцатом году. Из интеллигентов. Мать расстреляли чекисты, отец учитель, погиб в сорок третьем под бомбежкой. Работал грузчиком, служил в армии,

в Киевском военном округе. Сдался в плен под Белой Церковью. Работал на Днепропетровском мельзаводе помощником начальника мукомольного цеха. Отступил во Львов с войсками.

Шеф выслушал Вихря, помахал длинному пальцами — мол, переводить не надо — и попросил:

— Ну, расскажите-ка вашу столь печальную историю еще раз. Пока вы чувствуете себя скованным и чересчур старательно повторяете заученный вами текст.

Длинный переводил слова шефа, а Вихрь в эти секунды, пока ему переводили то, что он и без того понял, мучительно старался найти объяснение двум главным вопросам, которые ему еще не задавали, но зададут обязательно: откуда в его портфеле пистолет и гранаты.

— Вы не верите мне? — спросил Вихрь, когда длинный перевел слова шефа.

— А вы себе верите? Сами-то вы себе верите? — сказал длинный.

— Я не понимаю... — улыбнулся Вихрь. — Можно подумать, что я совершил нечто предосудительное. Мой аусвайс в полном порядке, в портфеле должны лежать характеристики с работы, подписанные вашими людьми...

Он упомянул про портфель, ожидая сразу же вопроса о его содержимом, но ошибся.

— Хорошо, хорошо, — сказал шеф, — мы ждем. Повторите вашу историю, она занята.

— Я готов повторять ее хоть сто раз — она не станет иной, моя история, как бы я ни хотел этого. Вы думаете, мне очень легко повторять вам о зазря погибшей матери, о вашем фильтрационном лагере, где не так сладко, говоря откровенно? Разве легко рассказывать о гибели отца, об отступлении — страшном, голодном отступлении под бомбежкой с вашими войсками во Львов?

— Мне искренне жаль настоящего Попко, — сказал шеф. — Аусвайс подлинный, мы проверили. История Попко тоже правдива. Но меня интересует: какое вы имеете отношение к господину Попко? Настоящий Попко в данное время проживает в Бреслау, на Моцартштрассе, двадцать четыре, в общежитии рабочих, которые трудятся на фабрике музыкальных инструментов.

«Грубо работает, — решил Вихрь. — Попко сидит у нас».

— Либо это мой однофамилец, — сказал Вихрь, — либо вас вводят в заблуждение. Я готов к очной ставке.

— Ого!

— Конечно... Мне нечего бояться, я чистый перед вами. Я всегда был лояльным по отношению к новой власти.

— Послушайте, — сказал шеф, — я вижу, как вы напряженно ждете того момента, когда я стану спрашивать вас о «парабеллуме» и гранатах. Вы уже приготовили версию, видимо вполне правдоподобную: мол, пистолет нашел во время отступления и гранаты тоже. Вы, верно, станете говорить, что вам это оружие было необходимо для личной безопасности — все это мне понятно. Я не буду вам мочить голову. Я вам сейчас покажу ваш парашют и отпечатки ваших пальцев на шелке и стропах.

— Здесь какая-то досадная ошибка, господин начальник.

— Бросьте. Вас выбросили ночью, и вы закопали свой парашют в двух километрах от наших казарм: солдаты в том лесу заготавливают дрова. Случайность — не спорю, но для вас эта случайность оказалась роковой.

— Пошли, — сказал длинный, — мы вам предъявим парашют для опознания.

— Мне нечего опознавать.

— Бросьте... Вы его закопали под двумя соснами, разве нет? И еще муравейник порушили — большой муравейник. В темноте, видно, упали: прямо в муравейник.

Вихрь почувствовал, как у него зацепенели руки: он действительно упал в муравейник.

— Пошли, пошли.

И они пошли сквозь анфиладу комнат в большой зал. Здесь на воценом паркете лежал его парашют. Вихрь пожал плечами и заставил себя улыбнуться.

— Не ваш? — спросил гестаповец.

— Конечно не мой.

— Понятно.

Они вернулись в кабинет шефа. Тот расхаживал вокруг стола и говорил по телефону, прижав плечом трубку к уху. Длинный шнур волочился за ним по полу. Шеф молча кивнул Вихрю на несколько листочков бумаги с отпечатками пальцев. Он, видимо, говорил с женщиной, потому что время от времени улыбался и играл бровями. Вихрь посмотрел листочки с отпечатками пальцев и сказал длинному:

— Я, вообще-то, в этой хитрости ничего не понимаю.

СОДЕРЖАНИЕ

МАЙОР ВИХРЬ.....	5
СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ.....	287
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ.....	539